

*Посвящается Кэти...
...и его преосвященству Элфреду Уоткину, бенедиктинцу,
которому я обязан любовью к истории
и который одно из моих школьных сочинений
сопроводил комментарием:
“Что это за чепуха?”*

Прежде чем изучать историю, изучите историка.

Э. Х. КАРР, *“Что такое история?”* (1961 г.)¹

За всякой историей стоит история —
например, жизнь историка.

ХИЛАРИ МАНТЕЛ, *из Ритовских лекций* (2017 г.)

Предисловие

Некто задается целью нарисовать мир. В течение многих лет этот человек населяет пространство образами провинций, царств, хребтов, бухт, кораблей, островов, рыб, комнат, инструментов, светил, лошадей и людей. Незадолго перед смертью он открывает, что этот неспешный лабиринт отображает черты его лица.

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС (1960 г.)¹

Сначала — о себе. В сентябре 1960 года я поступил в Даунсайдскую школу, в английской глубинке, в получасе езды от древнего города Бат. Школой — католическим заведением для мальчиков — управляло Даунсайдское аббатство: подразделение бенедиктинской общины, учрежденной в Австрийских Нидерландах четыремья веками ранее и изгнанной в Англию в период Французской революции.

Меня зачислили в группу из двенадцати мальчиков в возрасте от тринадцати (а мне было именно столько) до пятнадцати лет, которым предстояло изучать историю Средних веков. Особое внимание мы уделяли ликвидации монастырей при Генрихе VIII, а главным авторитетом в этом вопросе выступал Дэвид Ноулз, тогда кембриджский профессор истории Средних веков. Отношение Ноулза к монахам в миру было строгим: “Они получили по заслугам”. Лишь к концу пребывания в Даунсайте я узнал, что Ноулз сам был там монахом и по неясным причинам покинул обитель лет за двадцать до того. Мне в голову пришло, что на мнениях Ноулза наверняка сказались его пребывание в ордене.

После окончания школы я задумался о других авторах, которым мы обязаны тем, как постигаем прошлое. Как их жизнь повлияла на работу? Читая Джона А. Лукаса, я отметил, что у слова “история” два значения: не только само по себе минувшее, но и его описание, и потому всякий автор исторического сочинения есть истолкователь (или истолковательница), преобразующий историю фильтр.

Перечень трудов (даже исключительно на английском языке) о природе истории и о тех, кто ее изучал, велик, и он оставляет много места для самостоятельных поисков. Ближе всего к задуманному мной книга “История историй” (2009) покойного Джона Барроу, который заперся в своем

оксфордском кабинете с тридцатью семью избранными текстами² и выдал собственное авторитетное сочинение. Барроу указывает, что “почти всех историков, за исключением скучнейших, отличает определенная слабость: отчасти сопричастность, идеализация, отождествление; отчасти возмущение, желание восстановить справедливость, донести послы. И отсюда нередко проистекает самое интересное в их сочинениях”³. Далее Барроу рассматривает, как со временем, под воздействием политических, религиозных, культурных и патриотических факторов, менялось изображение событий минувшего. Но он сосредоточился на древней и средневековой истории, и его в гораздо большей степени занимала историография, а не личности историков. Здесь наши пути расходятся.

Эдуард Гиббон (его рассказ о крушении Римской империи — одна из знаменитейших исторических работ) написал и автобиографию (шесть очень разных версий). Он хорошо знал, что рассказы о прошлом — это по необходимости плоды ума. В неизданной рукописи (*Mémoire sur la monarchie des Mèdes*) он размышлял:

Всякий пишущий историю гениальный человек вкладывает в нее — возможно, неосознанно — черты своего собственного духа. У его героев, несмотря на разнообразие страстей и положений, будто бы одна манера мыслить и чувствовать: манера автора⁴.

Эти выражения — “гениальный человек”, те, кто “пишет историю”, “манера автора” — требуют разъяснений. Ниже я попытаюсь это сделать, учитывая научное соперничество, требования покровителей, необходимость зарабатывать на жизнь, физические недостатки, перемену моды, культурное давление, религиозные верования, патриотические чувства, любовные отношения, жажду славы. Я также стремлюсь рассказать о смене представлений о том, кто такой историк, и объяснить, почему великие историки именно так, как вышло, изложили свое видение прошлого. Рассказывают, что Мартин Хайдеггер однажды начал семинар словами: “Аристотель родился, работал и умер. Теперь рассмотрим его идеи”⁵. Помогает ли такое разграничение едва ли имеет смысл.

Я остановился на авторах, чьи книги выдержали проверку временем: Геродота и Фукидида, Тита Ливия и Тацита, а далее Фруассара, Гиббона, великих историков XIX века до наших дней. Кроме того, я уделил внимание Уинстону Черчиллю (ни в коем случае не великому историку, однако и важнейшему участнику событий, автору в высшей степени убедительному и популярному) и таким фигурам, как Саймон Шама и Мэри Бирд, слава и влияние которых многократно возросли после появления их на телеэкране.

Использовать избранное заглавие может быть самонадеянным, ведь “история” может уместнее выглядеть в скобках: у нее, скажем так, непростое прошлое. При отборе персонажей я в большей степени ориентировался на их “влиятельность”, чем на присутствие в некоем общепризнанном пантеоне. Удивительно, сколь многие из оказавших глубокое влияние на нашу историю людей не назвали бы себя историками. Почти четверть века назад чернокожий историк Уилсон Дж. Мозес отметил: “Историческое сознание не является ни самостоятельным продуктом, ни исключительным достоянием ученых-профессионалов”⁶. Поэтому я остановился здесь на авторах Библии, нескольких романистах, драматурге Уильяме Шекспире (и сужу о нем как о человеке, сформировавшем представления о прошлом у аудитории большей, чем у любого историка или беллетриста) и авторе знаменитого дневника Сэмюэля Пипсе. Кое-кто скажет, что записи Пипса — в большей степени первоисточник, нежели историческая работа. Я считаю их и тем и другим, причем в первую очередь рассказом о том, каково было жить английскому буржуа во второй половине XVII века. Дневники — это также и род потаенной истории, намеренно скрытой от посторонних глаз, шепоты, противоречащие громогласным заявлениям сильных мира сего. Лучшие дневники периода Второй мировой войны принадлежат женщинам (в Италии — Айрис Ориго, в Голландии — Анне Франк, в Германии — Урсуле фон Кардорф). При этом в некоторых странах, например в Австралии, ведение дневника было преступлением и грозило военно-полевым судом. В 1941 году, в начале блокады Ленинграда, ведение дневника поощрялось советскими властями ради сбора свидетельств. Позднее же такие свидетельства подвергались цензуре, поскольку они могли помешать выдать случившееся за массовый ежедневный подвиг.

О всех историках всех времен рассказать явно невозможно. И хотя я сделал все, что мог, исходя из интересующих меня предметов и собственного опыта, я еще один пример того, насколько рассказчик о прошлом субъективен, насколько связан он обстоятельствами, пережитым и временем. При этом борьба за право писать о том, кто мы, борьба за право писать историю наблюдается у всех народов, и наше понимание своего прошлого влияет на то, что мы делаем и во что верим. Джеймс Болдуин писал:

История не отсылает только, или даже главным образом, к прошлому. Напротив, своей великой силой история обязана тому, что мы носим ее в себе, что мы неосознанно руководимы и направляемы ею во многих отношениях, что история буквально присутствует во всем, что мы делаем. Едва ли может быть иначе, ведь именно истории мы обязаны своими системами отсчета, своим самосознанием, своими надеждами⁷.

Несколько лет назад, в самом начале работы над этой книгой, в Амхерстском колледже (штат Массачусетс) я прочитал доклад группе преподавателей истории. После выступления подошел профессор истории Латинской Америки, похвалил лекцию, а после произнес: “Вы избрали горизонтальный подход к предмету, а мы здесь предпочитаем вертикальный. В Амхерсте вы никогда не попали бы в штат”. Это деление по геометрическому признаку не кажется мне убедительным, но историков из наших университетов может не устроить даже такой широкий критерий.

В середине 1960-х годов, когда я учился в Кембридже, деканом исторического факультета был Джеффри Элтон, знаток эпохи Тюдоров. В 1967 году он напечатал книгу “Практическая история”, в которой утверждал, что настоящую историю пишет лишь “профессионал”, а “отличительный признак дилетанта — отсутствие инстинктивного понимания, склонность отыскивать странности в прошлом или его отрезках. Профессионал совершенно на это не способен”⁸. В конечном счете, по словам Элтона, арсенал историка-профессионала (в отличие от любителя) составляют “воображение, обуздываемое ученостью и эрудицией, а ученость и эрудиция делают воображение продуктивным”. Из разговоров с Ричардом Эвансом (до недавнего времени профессором королевской кафедры современной истории в Кембридже, блестящим знатоком немецкой истории XX века) я узнал, что взгляды Элтона еще сохраняют свое влияние. С точки зрения Эванса, ни один биограф, ни один мемуарист, вообще никто из тех, кто подходит к своему предмету с идейных позиций, не вправе быть историографом. В валлийских часовнях может быть очень одиноко.

Объективность — очаровательная идея, но когда в 2011 году я спросил девяностодвухлетнего Эрика Хобсбаума, может ли историк быть объективным, он рассмеялся: “Нет, конечно. Но я стараюсь следовать правилам”⁹. Большинство современных авторов так или иначе стараются не скрывать свои предрассудки. Арнольд Тойнби заметил: “У каждой нации, у каждого народа есть стратегия, сознаваемая или несознаваемая. А те, у кого ее нет, становятся жертвой стратегии других народов”¹⁰. Следует помнить, что объективность тоже может быть стратегией.

Избавиться от всех предрассудков невозможно. Есть они и у меня. Но именно такова моя задача. Некоторые сюжеты я выбрал потому, что они заинтересовали меня, но, как правило, я предпочел тех историков, которые особенно сильно повлияли на наши представления о прошлом. Признаю, что мой выбор может покоробить и даже вывести из себя “профессионального” историка. Я вовсе не упомянул или отвел минимум места таким выдающимся деятелям, как Кассий Дион, граф Кларендон, барон де Монтескье, Жюль Мишле, Джамбаттиста Вико (это он придумал

философию истории), Франческо Гвиччардини, Теодор Моммзен (единственный профессор истории, получивший Нобелевскую премию по литературе), Якоб Буркхардт (Лукас видит в нем, вероятно, крупнейшего в последние два века историка), Фрэнсис Паркмен, Томас Карлейль (его историю Французской революции Саймон Шама поместил на восьмое место в списке десяти лучших исторических трудов — за “вулканические литературные извержения”¹¹), Генри Адамс, Ф. У. Мейтленд, Йохан Хейзинга, Питер Гейл, Эдуардо Галеано (великий историк Латинской Америки), Гао Хуа (выдающийся летописец восхождения Мао Цзэдуна к власти) и его наставник Чэнь Инькэ, специалисты по устной истории Стадс Теркел (его редактором я однажды выступил) и Оскар Льюис, всеядный австралиец Роберт Хьюз и, наконец, Рон Черноу (написанная им биография Александра Гамильтона легла в основу самого популярного мюзикла XXI века). Кроме того, я считаю, что сейчас поистине золотое время, и у меня есть список более чем тридцати современных историков, опубликовавших важные книги. Здесь я их не называю (кроме некоторых, добившихся широкого признания с помощью телевидения), поскольку рано судить, чего они будут стоить в будущем.

В целом (но не строго) я придерживаюсь хронологии. Предлагая несколько магистральных тем, я рассчитываю постепенно выяснить, как складывались наши оценки прошлого и что с ними происходило после отказа от них; как с течением времени изменялась практика использования источников (от архивов до свидетельств очевидцев и “безъязыких” зданий, могильников и кладбищ, объектов материальной культуры); какова природа предвзятости, вызванные ею ошибки, а также, как ни парадоксально, ее сила (ведь соединенный с талантом сильный субъективизм историка может оказаться благом); каковы отношения историка с государством и патриотами; какова роль нарратива и каковы отношения между ним и истиной.

Люди называют великий труд Геродота “Историей”, но ученые уточняют: греческое слово — *Ἱστορία* — означает скорее “изыскание”, “исследование”. Называть его “Историей” означало бы принизить оригинальность сочинения. Я бы хотел рассказать о тех, кто сформировал образ прошлого — то есть, по сути, *дал нам прошлое*, — и считаю, что греческий путешественник две с половиной тысячи лет назад ввел в употребление особого рода изыскание, учитывающее географию, этнографию, филологию, генеалогию, социологию, биографику, антропологию, психологию, воображаемые реконструкции (как в искусстве) и множество иных видов знания. Тот, кто демонстрирует столь большую любознательность, должен с гордостью носить имя историка.

Вступление

Монах в миру

Мы можем попытаться уменьшить его, смягчить, но никогда не достигнем совершенства. Неустраним субъективный фактор, его деформирующее присутствие... Так что в идеальном смысле мы всегда имеем дело не с реальной историей, а с рассказанной, представленной, с той, каковой — как кому-то кажется — она была, с той, в которую кто-то верит.

Рышард Капуцинский (2007 г.)¹

Летом 1963 года кембриджские друзья, ученики и коллеги преподнесли Дэвиду Ноулзу (1896–1974) сборник его статей по случаю отставки с поста королевского профессора современной истории — одного из самых престижных, доступных историков. Всю вторую половину XX века Ноулз считался ведущим специалистом по религиозной истории Англии, крупнейшим ученым после великого правоведа Фредерика Уильяма Мейтленда (умер в 1906 году). Ноулз изучал поразительно долгий отрезок времени — примерно с 800 года до конца XV столетия, издал двадцать девять книг и пользовался огромным авторитетом в Англии и за ее пределами. Его называли “поэтом среди историков”², “одним из могучих дубов в лесу, поэтом, пишущим в прозе”³, “непревзойденным... [и] несравненным”⁴.

Юбилейный сборник начинается с биографического очерка⁵. Родители Ноулза назвали сына Майклом Клайвом; имя “Дэвид” он получил, приняв постриг. Сразу после окончания учебы в Даунсайдском аббатстве Ноулз вступил в эту монашескую общину. С 1923 года он преподавал в школе и тогда же начал писать. В 1928 году, в возрасте тридцати двух лет, его назначили наставником новициев: тех, кто готовился вступить в орден. В 1933 году Ноулз перебрался в приорство Илинг, форпост Даунсайдской обители, и посвятил себя работе над своей главной книгой “Монашеский орден в Англии”.

Остальное место в тексте занимает бесконечное перечисление его книг, статей, лекций, преподавательских должностей и академических наград. В 1944 году Ноулза избрали в совет кембриджского колледжа Питерхаус, а в 1954 году Уинстон Черчилль назначил его королевским профессо-

ром; так Ноулз стал на этом посту первым после лорда Актона (1895) католиком, а также первым (возможно, и последним) со времен Реформации католическим монахом и священнослужителем. “Широкой публике стало ясно, что появился первоклассный историк-медиевист”, — продолжает автор очерка Уильям Эйбел Пэнтин, медиевист и оксфордский друг Ноулза.

И здесь вы, вероятно, ждете “но”. Жизнеописание умалчивает и о грандиозном бунте в Даунсайте, поднятом Ноулзом, и о самых важных в его жизни отношениях — с женщиной — в последние тридцать пять лет⁶. В юбилейном сборнике помещен вычищенный вариант биографии, который много лет распространяло аббатство. И все же именно тяжелые времена сделали его историком, внушающим такое уважение. Кроме того, они иллюстрируют некоторые основные темы этой книги. Я отдаю себе отчет, что читателю-неангличанину в середине XX века монашество может показаться предметом темным, и хотя при жизни Ноулза чествовали, в наше время о нем почти забыли. Но наберитесь терпения. История его жизни не только исключительно драматична. Она показывает, как у человека формируется понимание прошлого сквозь призму его представлений и предрассудков, и послужит нам ориентиром по мере того, как мы переходим от века к веку и от историка к историку.

Выше я рассказал, как познакомился с работами Ноулза и поразился его враждебности по отношению к монашеским орденам (ведь сам он был монахом) в Англии до их роспуска [Генрихом VIII]. В марте 2010 года я отправил электронное письмо даунсайдскому аббату Айдану Белленджеру, изучавшему в Кембридже историю Средних веков и получившему там докторскую степень. Знал ли он Ноулза? Да, знал: “Я могу *многое* вам рассказать”. Через несколько недель его преосвященство пригласил меня в свой крошечный кабинет в аббатстве. “Два последних дня я размышлял о Дэвиде Ноулзе, — заговорил он. — Видите ли, у нас есть его неопубликованная автобиография”. И со смешком ответил на немой вопрос: “Да, разумеется, вы сможете ее прочитать”. И я, расположившись в монастырской библиотеке за особым столом, ознакомился с рукописью.

Ноулз начал работать над автобиографией в 1961 году, в возрасте шестидесяти пяти лет⁷. Рукопись в целом была завершена в 1963–1967 годах, многократно переписывалась и теперь существует в трех вариантах (самый длинный занимает 228 страниц), но Ноулз правил текст и в 1974 году — в том же году он умер. В некоторых местах есть разночтения, из других исключены слишком интимные фрагменты. Варианты раз-

личаются интонацией и мерой откровенности, но вместе они демонстрируют сильные стороны его опубликованных работ: сильное чувство места, точный анализ характера, многочисленные литературные реминисценции, строгая религиозная основа.

Дэвид Ноулз родился в семье протестантов (не англикан) и истовых либералов, занимавших самый большой дом в уорикширской деревне близ Стратфорда-на-Эйвоне (на деда по отцовской линии работала добрая половина ее населения). Дэвид был единственным ребенком в семье и обращался к отцу “сэр”. Несмотря на эту формальность, между ними были близкие отношения. Гарри Ноулз привил сыну любовь к деревне, старым домам и крикету, а также к литературе. Ноулз пишет, что отец “оказал глубокое влияние на мой ум и характер и с младенчества был моим самым близким и дорогим другом”.

Ноулз-старший (преуспевающий торговец лесом, также изготавливавший грампластины для *His Master's Voice*) был очень увлечен идеями кардинала (теперь уже святого) Джона Генри Ньюмена, крупнейшего английского католического автора конца XIX века. В 1897 году Гарри Ноулз вместе с женой обратился в католичество (их сыну тогда было двенадцать месяцев). По решению Ноулза-старшего, его единственный отпрыск до десятилетнего возраста не посещал обычную школу. Дэвид рос изолированно, в большом доме, с излишне заботливой матерью, имевшей, однако, хрупкое здоровье. Первыми его книгами стали Вальтер Скотт и Марк Твен, “Черная стрела” Стивенсона и “Лорна Дун” Блэкмора, но, как ни странно, не Диккенс. Мальчик наизусть знал оперетты [Уильяма] Гилберта и [Артура] Салливана, а также полюбил железную дорогу (он усвоил графики поездов настолько, что пришел в восторг, найдя опечатку в расписании поезда на остров Мэн). Он был одинок, впечатлителен и не по годам умен. И в одном Дэвид уже был уверен:

Не припомню, когда впервые узнал, что буду священником. Я говорю “узнал” потому, что ни разу в жизни я не обдумывал это и не решал (и мой отец никогда не высказывал пожелание по этому вопросу), но я, вероятно, был уверен в этом перед первым причастием [принимаемым обычно примерно в девятилетнем возрасте], поскольку очень ясно помню, что представлял, лежа в постели, вечер, когда и где состоится мое последнее причастие, и видел себя священником, принимающим его.

В 1906 году (т. е. до тринадцати лет) Дэвида определили в Вест-хаус — католическую пригосударственную школу в пригороде Бирмингема. Четыре года спустя он получил стипендию на учебу в Даунсайде.